

А. Ф. ЛОСЕВ

«Смерть, где твое жало; ад, где твоя победа...»

Вступление Елены ТАХО-ГОДИ.

Подготовка текста А. А. ТАХО-ГОДИ и В. П. ТРОИЦКОГО.

Публикация А. А. ТАХО-ГОДИ.

Незавершенный рассказ философа и филолога-классика А. Ф. Лосева, начинающийся словами «Мне было пять лет», написан судя по всему в сороковые, военные годы, и тем не менее в нем чувствуется продолжение основных тем лосевской прозы начала тридцатых, особенно очевидны параллели с созданным в 1932 году в лагере на Беломорско-Балтийском канале рассказом «Театрал». Там на фоне гротескных, подчас эпатазирующих своей натуралистичностью видений косноязычно ораторствовал некий мещанин в кепке, почувствовавший себя агитатором, проповедником, пророком новой религии. Чем не прообраз появляющегося во фрагменте прозы сороковых годов некоего, провинциального вида, глупого и злого мещанина Епишки, витийствующего перед толпой, готовой увидеть в нем и своего вождя, и нового чудотворца, и самого Бога, самого Спасителя? И все же публикуемый текст — не простое продолжение старой темы: есть в нем нечто принципиально новое. Хотя и прежде герои лосевской прозы совершали невероятные поступки, но все их действия были словно запрограммированы, всегда была внешняя, существующая вовне причина, постепенно порабащивающая их слабое человеческое «я» и толкающая то на преступление, то к безумию. В новонайденном фрагменте все иначе. Тут на первый взгляд все действие развивается в соответствии с юнговским архетипом «тени» — недаром внутренние предпосылки и извечная склонность человеческого сознания к раздвоенности, к порождению некоей тени своего внутреннего «я» прослежены с младенческих лет героя. Его исповедь с безжалостностью психоанализа подводит читателя к выводу, что такого рода безумие приходит не извне, оно не навязывается насильно — оно живет внутри «я», оно его часть, его тень, искаженная и нелепая, его двойник, его враг. И это внутреннее, второе, низменное, животное «я» страшнее ведьм, чертей, вампиров и привидений, ибо оно готово осквернить все то, что дорого подлинному, чистому «я» человека, оно готово надругаться над святыней, над могилой матери, как делает это мерзкий Епишка, готово осмеять таинство смерти и превратить саму жизнь в «ад всесмехливый»: в Епишкином «хохоте до упаду» так и слышатся отзвуки самого этого слова — «ад».

Мысль убить, уничтожить негодяя Епишку все четче и четче вырисовывается в сознании безымянного лосевского героя. Когда-то у него было оружие, пусть детское,— его праща, но он ее потерял. В библейские времена именно праща стала в руках безвестного юноши-пастуха тем смертоносным оружием, которым он уничтожил мощного и жестокого врага. Но как уничтожить врага, если он — не кто-то другой, а твое собственное второе «я». Не обернется ли такое уничтожение самоубийством или окончательным помешательством? Одно несомненно, что мерзкий Епишка кажется герою рассказа страшнее гоголевского Вия вполне справедливо. В Епишке, по словам автора, заложена «тьма разных образов и положений». Так что он не просто двойник героя наподобие «двойника» Достоевского, хотя в русской литературе у него есть корни,— я имею в виду «Три разговора» Вл. Соловьева и возникающий в них образ Антихриста. Епишка, этот провинциальный мерзкий мещанин,— Антихрист? Возможно ли это? Да, Епишка — Антихрист, ибо он не только олицетворяет собою все мировое мещанство, которое само по себе уже суть анти-христианство. Он — Антихрист, в первую очередь потому, что берет на себя миссию Христа — миссию победителя смерти. Он — Антихрист, и потому народные толпы готовы поклоняться ему как Богу, молиться на него и признать его новым Спасителем. Но обещанная им победа над человеческим страхом смерти — лишь карикатура на победу Того, Кто подлинно мог низложить «смерти державу» и, «смертию смерть поправ», как поется в Пасхальном каноне Иоанна Дамаскина, дал всем людям возможность «возрадоваться и возвеселиться». Это пасхальное веселье, эту духовную радость и пытается подменить своим «хохотом до упаду», своей неведомой «машиной» Епишка. Пусть этот омещанившийся Антихрист не похож на «канонические» изображения, но, может быть, тем он и страшнее. Он приходит в мир не из пламенеющих бездн, он вырастает из души человеческой, из тишины, тьмы, одиночества человеческого «я», он растет вместе с обыкновенным человеком — не около, не вовне, а вместе с ним, вместе со всем человечеством, чтобы однажды подчинить его себе целиком и окончательно. Достаточно малейшей зацепки — как, например, некоторого излишнего преклонения безымянного лосевского героя перед наукой в ущерб вере: как красноречива его реплика о том, что с точки зрения науки гроб матери есть не что иное, как ящик с костями,— и тут же мир для него окончательно превращается в настоящий ад. И этот ад тем и страшен, что он обычен, невзрачен и всегда где-то рядом — в родном доме, на бульваре, на университетской кафедре, среди толпы. В любую минуту и повсюду готов воцариться Епишка, который страшнее мелких ведьм и прочей нечести, ибо он безликое лицо ада, от которого не спасает наивно поданное героем заявление в полицейский участок. Спасает только страдание, только страстной путь веры — другими словами, та самая отвергаемая мировым мещанством Пасха, когда, как говорит Иоанн Златоуст, Бог, «держимый смертию угаси смерть» — «воскресе Христос, и падоша демони».

Как и когда сможет, да и сможет ли вообще лосевский герой победить своего двойника-демона — нам, увы, не узнать: перед нами только ФРАГМЕНТ.

Епишка*

Мне было пять лет. Рос я — довольно обычно. Ничего со мной особенного не случилось.

Родители жили не бедно и не богато. И все было нормально.

Мама и няня рассказывали мне всякие небылицы, которые часто пугали мое воображение. Но и в этом не было ничего неестественного. Что ж тут особенного, если пятилетний ребенок боится Бабы Яги и не хочет оставаться в темноте? Однако почему-то один раз я испугался как-то особенно.

Дело было летом, вечером. Мы играли с соседними ребятами в небольшом саду около нашего дома. Часов около 7 все они разошлись, а я вернулся в дом и игрался около родителей и каких-то гостей, сидевших на небольшом крыльце перед садом.

Уже няня стала меня звать спать, как вдруг я вспомнил, что в саду остался мой пращ, который недавно мне подарили и который доставлял мне великую радость последние дни. Я не хотел расставаться с любимой игрушкой и побежал в сад, так как, по моему мнению, он остался на скамейке в глубине сада.

Я знал, что идти туда было жутко, так как уже порядочно стемнело. Но удовольствие от одного держания этого праща в своих руках было настолько велико, что я все же решился пойти на поиски. Я клал этот пращ себе под подушку, когда ложился спать, и вообще с ним не расставался.

Особенно сильной темноты не было. Были сумерки, стоявшие почти всю ночь.

С некоторой дрожью подошел я к скамейке, где предполагал найти пращ, и стал нервно шарить рукой и по скамейке и под нею на земле.

Никакого праща не было и в помине.

Что было делать? Идти спать без праща мне не хотелось. Темнота, однако, начинала пугать меня не в шутку.

Обшаривши все кругом, я все еще не мог примириться с мыслью идти спать без праща и, дрожа от страха и досады, сел на скамейку или, кажется, к ней прислонился.

В то самое мгновение, как я прислонился к скамейке, я бросился что есть силы бежать в дом и, по-видимому, с неистовым криком и воплем, потому что взрослые успели уже спуститься с крыльца, когда я еще только подбежал к дому.

Черт знает что! Я даже не знаю, чего я испугался.

Обыкновенно пугаются ведьм, чертей, вампиров, покойников, всяких привидений. Я же испугался... прямо смешно и сказать чего.

Привиделся мне какой-то мальчишка, такого же возраста, как и я, с такими же белокурыми волосами. И даже не привиделся. Что значит — «привиделся». Можно подумать, что это какое-то «явление», «видение». Ничего подобного! Просто мелькнул в голове образ какого-то мальчика,— такого, правда, не было среди моих товарищей,— но самого обыкновенного, самого нормального, в котором не было ни капли чего-нибудь странного, чудовищного, сказочного.

Это было обыкновенное ребячье лицо, которое всплыло на одно мгновение и тут же исчезло, как мало ли вообще чего у нас всплывает днем или ночью в сознании, а потом тут же и затухает на целую вечность?! Лицо, однако, это я прекрасно запомнил. И вот сейчас мне уже за 50, а я помню его во всех деталях, как фотографию вижу.

Что о нем сказать? Да, по правде, и сказать-то о нем нечего. Ну, мальчуган как мальчуган. Ну, моего возраста. Ну, белокурый. Ну, смеется. Что еще? Правда, смеется как-то не того... Смешок какой-то... То есть скорей бы оно взрослому подходило... Но только не подумайте, что тут было как-нибудь особенно. Ничего особенного не было. Все было нормально. Смешок эдакий хитроватый: «Хе-хе!.. Ты, мол, хотел от меня спрятаться, а я вот тут как тут».

Вот и все незатейливое «явление».

Но чего же я так испугался? На этот вопрос трудно ответить, но стоит ли особенно убиваться отвечать? Не на всякий вопрос стоит отвечать. Да и толку-то, если мы ответим. Ну, там, врач, конечно, как-нибудь объяснит.

«Наследственность», «ассоциация идей», «эмоциональное мышление», вообще детская психика, два-три латинских термина... Ведь все, что совершается, имеет свои причины. Но это в конце концов просто скучно — вечно разыскивать причины. И потому я даже и сейчас, собственно говоря, этим не интересуюсь.

А дело было все-таки серьезное.

Меня, дрожащего, бьющегося в истерике, издающего вопли на весь дом, не могли успокоить целую ночь. Я болел долго, не меньше месяца. А после этого еще с год был истеричным, капризным, полусумасшедшим ребенком, так что психическое равновесие стало восстанавливаться только к началу школьного периода.

Меня долго спрашивали, чего я испугался, так как всем с самого начала было ясно, что я именно испугался. Но я решил никому ничего не говорить и не говорил потом целую жизнь.

Мне уже боялись рассказывать страшные сказки, не оставляли одного в темноте и вообще принимали всякие меры.

Заботливость родителей, нормальные условия жизни, учеба, здоровый от природы организм взяли свое, и года через два-три весь тот беспокойный случай прошел бесследно.

Я кончил гимназию и поступил в университет.

Судьба была ко мне благосклонна. Я мог учиться частью на средства родителей, частью на свои уроки, не терпел особенной нужды, неплохо сдавал экзамены, и мне уже оставался до окончания всего только один год, как произошло событие, уже гораздо более неприятное, чем детский испуг в потемках.

Была весна, и я после целого дня зубрежки к экзамену вышел на Тверской бульвар (я учился в Москве) погулять, посидеть и подышать чистым воздухом.

Был опять вечер и опять сумерки.

На бульваре было много народу. Москвичи разного возраста, занятия и звания гуляли, жуировали, совершали сделки и просто отдыхали. Девушки легкого поведения были тоже в большом количестве. Было жужжание, стрекотня и почти гвалт.

Мне надоело шататься в центре, да и сесть было негде. Я вышел из толпы и, наконец, нашел свободную скамью ближе к Никитским воротам и с наслаждением сел, дыша всем телом на свежем весеннем воздухе и отдыхая от экзаменационной гонки.

И что же вы думаете? Тут уж вам и не пятилетний ребенок, а двадцатилетний молодой человек с усиками и даже с бородкой (я завел себе небольшую бородку, и она мне казалась изящной, мягкой и в то же время мужественной). Тут вам и не мама со своими русалками и нимфами, не родня со своими лешими, домовыми и водяными. Тут уж вам толстые томы университетских курсов по несколько сот страниц каждый... А вот поди ж ты! Представьте вы себе — опять «явление» и «видение». Не правда ли, многовато это для одного человека? И не правда ли, опять так бывает в старых романах и бездарных потугах на чудесное и фантастическое? Однако самое-то интересное заключается в том, что ничего же тут чудесного не было и в помине. Опять мелькнуло и опять на одно мгновение нечто до такой степени обыкновенное: нечто настолько неинтересное и нескандальное, что я прямо-таки боюсь разочаровать того, кому попадут эти записки в руки.

Ну, пусть бы что-нибудь эдакое чудовищное или волшебное, пусть бы какой-нибудь Вий или хотя бы гоголевская свинья, показавшаяся кому-то там в окно.

Ни тебе Вия, ни тебе свиньи, а уж о домовых и леших и разговору не могло быть.

Это был какой-то молодой человек, моих тогдашних лет, с такими же усиками и бородкой, но только очень глупый. У него был вздернутый носик и высоко поднятые брови, придававшие ему глупо-удивленный вид. Но, кроме того, он по-видимому хотел передразнить, что ли, меня: голова у него была вытянута несколько вперед, ноги немного расставлены; а главное, эта глупая рожица как будто ухмылялась и как будто даже несколько высывала язык, хотя этого я в точности не помню. Ну, точь-в-точь как мы, желая передразнить кого-нибудь, высываем язык и производим звук, слегка напоминающий бляение овцы.

Совершенно не могу сказать, чего тут страшного. Все это пустяки, о которых и разговаривать нечего, если бы только не одна подробность.

Вот уж что действительно странно, так это то, что я узнал в том стервеце того самого мальчишку, который привиделся мне в пятилетнем возрасте.

Что? Это существо, значит, где-то живет, становится из ребенка взрослым, появляется, когда ему бывает угодно, и т. д. Вот это действительно странно.

Да, да, это он сам. Я прекрасно помню оба эти портрета. Те же белокурые волосы, та же глуповатая улыбка. У ребенка носик, правда, был не очень вздернут, но у взрослого его вздернутый нос, вне всякого сомнения, есть тот же самый нос. Да, да, пятнадцать лет назад она только еще намечалась, эта форма, а сейчас она закончена и получила надлежащее развитие.

Тогда этот субъект тоже пытался в чем-то меня поймать, как-то обмануть, вернее, как-то разоблачить,— да, да, не обмануть, а именно разоблачить,— и вот то же самое сейчас. Но только сейчас он значительно нахальнее, злее, глупее и бездарнее.

Итак, что же? Этот господин, значит, где-то живет и имеет свою судьбу? Где же он живет и что он делает, и какая его судьба? Какая цель его существования, а главное, где же, где он живет и зачем он ко мне является? Впрочем, все эти вопросы я задаю сейчас скорее в порядке последовательного изложения и ради необходимой в таких случаях риторики. По настоящему, если хотите знать, то все эти вопросы и все ответы на эти вопросы были поставлены и даны, все, все целиком — в одно то мгновение, когда он мне привиделся.

Ответ был резкий, решительный, суровый и окончательный: этот господин целую жизнь живет около меня, со мною, может быть, даже во мне. Его цель — надоедать мне своими ужимками и гримасами, своими издевательствами надо мной и своим вечным сарказмом. Он — бездарен, глуп, он даже по виду — какой-то забитый провинциальный мещанин. И вот он вечно трется около меня, шмыгает у меня под носом, перебегает дорогу или шелестит мелкими шажками сзади.

В то дурацкое мгновение я вдруг вспомнил, что в течение целой жизни он был со мною, что он копировал, обезьяничал с меня все мои поступки и даже тайные мысли, что он скрыто владел мною, направлял меня то в ту, то в другую сторону.

Я вспомнил, что еще гимназистом, ложась спать, я чувствовал какое-то шевеление у меня под одеялом, какое-то скрипение кровати, несмотря на мою полную неподвижность. И тогда я не придавал этому значения, приписывая все своей фантазии. Но теперь я вдруг вспомнил,— да, да, именно вспомнил! — что это был он, он, этот глупый и злой мещанин, не отстававший от меня целую жизнь. Я был здоровым нормальным человеком, с хорошим организмом и правильно воспитанной психикой,— какое такое воображение и какая такая болезненная фантазия могла быть у меня тогда, у десятилетнего, у двенадцатилетнего, у пятнадцатилетнего здоровяка? Нет, это, конечно, была не фантазия.

В то идиотское мгновение на Тверском бульваре я вспомнил, что, когда я ездил на лето в деревню к родственникам, этот субъект первый становился на подножки железнодорожного вагона, семенил около меня в вагоне во время приискания места, путался в моих ногах при выходе из вагона, целовался с моими родственниками после моего прибытия к ним, опять завтракал и обедал со мною, ложился со мною спать, вставал и умывался.

В то пустое и бесплодное мгновение на Тверском бульваре я ощутил, что это существо уже давно проникло в меня, соединилось с каждой каплей моей крови, что оно копошится и млеет во всех тайных закоулках моей души. В каждом биении сердца, в каждом вздохе и выдохе, в каждом тайном и явном жизненном процессе моего тела живет, действует,

ухмыляется, издевается, высовывает язык эта пошлая дрянь, эта бездарная карикатура, которая хоть бы обликом-то своим была похожа на сказку и фантазию, а то ведь и сказать-то о ней нечего, до того она бесцветна и бессодержательна.

Что? И из-за этого кретина мне страдать? Из-за этого скучнейшего мещанина нарушать мне мой нормальный образ жизни и выбиваться на несколько лет из колеи? Да! Хочешь, не хочешь, а очнулся я после той минуты только через двое суток, увидевши, что я уже доставлен к себе на квартиру, что около меня заботится моя квартирная хозяйка и что было уже несколько врачей.

Я пришел в себя, но в груди, в голове, в глазах стояло что-то тяжелое, свинцовое; и я с трудом двигал своими членами.

Я вполне отдавал себе отчет, что со мной случилось, но я старался не вспоминать этого паршивого образа, уложившего меня на Тверском бульваре.

Малейшее воспоминание о нем повергало меня в океан досады, злобы, ненависти, мести, и — я начинал задыхаться от страстного, слепого, животного аффекта уничтожить, убить, изуродовать этого негодяя.

Как он смеет, думал я, врваться в мою жизнь? Кто ему дал право ухмыляться, высовывать язык? Чувство бешеной, но — сознаюсь — почти бессильной досады овладевало мною, клокотало в груди и в горле, и я начинал терять едва наметившееся, весьма неустойчивое равновесие.

Самое главное то, что малейшее припоминание этого образа неизменно рождало во мне все новые и новые черты и события из моего всегданнего интимного общения с ним; и мне казалось, что в его виде на Тверском бульваре заложена целая тьма разных других образов и положений, рассматривать и расписывать которые не хватит и целой жизни.

Вот — не угодно ли? Проснувшись после скверной ночи через 3—4 дня после события на Тверском бульваре, я вдруг вспомнил и — что же, по-вашему, вспомнил? Я вспомнил, что на бульваре я его видел вовсе не так. Я его видел, оказывается, сидящим на скамейке, но уже не на бульваре, а где-то на дворе, сидящим и выщипывающим волосики у нескольких котят, которые около него ползали.

«Ведь этакая дрянь!» — подумал я. Но тут я еще сдержался. К вечеру этого дня, однако, я уже не мог сдержаться.

Целый день я ничего не вспоминал. Он стоял тут же, здесь же, около меня, во мне самом, но стоял недвижно, без лица, как бы кроясь во тьме, как бы мертвая глыба. Но только к вечеру этого дня я опять его вспомнил.

Вспомнил, и — мне стало ясно, что он вовсе не язык высовывает и не котят щиплет, а занимается совсем другим делом.

Стыдно, смешно и глупо сказать, каким именно другим делом.

Весь недостаток, весь дурной стиль этой фантазии вообще заключался в том, что тут не было ничего ни фантастического, ни сказочного, ни просто даже страшного. Но то, что я увидел в конце упомянутого дня, превосходило все по своей, я бы сказал, намеренной, нарочитой естественности.

Мой дурак, оказывается, просто испражняется. Правда, кое-что мне все-таки показалось при этом необычным. Почему он занимается этим делом прямо на земле, в каком-то даже саду или роще, что ли? Вижу: какие-то кучи земли, какие-то белые камни, кресты... Э, да ведь это кладбище. Ха-ха, на кладбище испражняется! Почему? Что за выходки? Я подождал, пока он застегнулся и ушел, и потом приблизился к тому месту, где он занимался столь прозаическим делом.

Я увидел очень много следов его занятий этим делом. Очевидно, он сюда постоянно за этим ходил; и, очевидно, у него не было для этого никакого другого места.

Вот и все! Правда, я заметил еще одну мелочь. На этой могиле, которая вся была превращена в отхожее место, на стертой и облупленной пластинке, не то каменной, не то металлической, я прочитал имя его матери. Но это такой пустяк, что о нем и говорить нечего.

В конце концов совершенно неважно, где испражняться. Единственный вопрос, который может нас здесь беспокоить, — это вопрос только гигиенический и санитарный. Но вопрос этот все же имел в данном случае второстепенное значение, потому что дело было за городом, да при том еще где-то в глухой провинции, так что самые ярые санитары оставляли тогда эти места почти вне всякого внимания.

Да при том что такое «мать»? Разве это мать, если там только сундук с истлевшим хламом? Родителей, конечно, нужно уважать, если они того стоят. Но для меня самое важное — наука. А с научной точки зрения истлевший хлам есть истлевший хлам и больше ничего.

Дело, конечно, не в этом. А дело в том, почему он, мерзавец, выбрал именно это место, а не другое, и почему он, мерзавец, мне это показывает? Зачем это мне нужно? Какое мне до этого дело? Почему он врывается в мою нормальную жизнь и хочет ее нарушить и даже окончательно уничтожить? Этого неуважения к себе я уже никак не мог выдержать; и если утром того дня я еще сохранил некоторое равновесие, то здесь я решил обратиться в полицию, чтобы она раз навсегда избавила меня от посещений этого нахала и от его назойливых информаций. Ведь это же в конце концов обязанность полиции — сохранять общественный порядок и препятствовать всякому его нарушению. Тут же вечером я побежал в свой полицейский участок и написал там подробное донесение. Начальник участка обещал принять меры, и я ушел успокоенным.

Прошло еще несколько дней. Я постепенно и довольно медленно оправлялся от всех неприятных чувств, доставленных мне моим субъектом. И я даже стал к нему относиться несколько юмористически, стал его называть Епишкой.

Я понемногу брался за учебники, узнавал о пропущенных экзаменационных сроках и о возможности отсрочки для себя двух оставшихся экзаменов, понемногу приходил в себя, как вдруг, уже получивши отсрочку экзаменов от университетского начальства, я опять вспомнил этого мошенника, вспомнил эдак часов в 12 дня, когда полез в чемодан за носовым платком, да так и остался на корточках перед чемоданом.

Вы не можете себе представить, до какого нахальства дошел Епишка.

Ха-ха! Епишка — ученый, Епишка — профессор. Епишка стоит на кафедре перед многочисленной аудиторией и читает лекцию. А я-то думал, что он на бульваре с прохожими балуется или чистит себе желудок! Ничего подобного! Это была только видимость. А вот, вот в каком виде представился он мне тогда на бульваре. Вот он читает свою лекцию — нет, не лекцию; вот он произносит речь и даже не речь, а какую-то проповедь. Да, да, он не профессор, он — проповедник, агитатор, основатель какой-то религии, секты или чего-то вроде этого.

— Господа! — с неподдельным волнением и дрожью в голосе выкрикивал Епишка, имея тот же самый глупейший вид с вздернутым носом, удивленно поднятыми бровями, с маленькими темными усиками и мягкой бородкой, с выкатившимися мелкими серыми глазенками, одновременно пугающими и испуганными.— Господа! Мы пока еще не можем преодолеть смерть, но мы уже можем ее обезвредить. Хотите обезвредить свою смерть? — Хотим, хотим! — загудела толпа.

Я подумал: «Что значит обезвредить?» Но ничего не сказал и стал прислушиваться.

— Господа! — продолжал Епишка, и в его голосе мне послышалось что-то деланное, театральное.— Господа! Как бы вы сами хотели обезвредить свою смерть? — Хотим умирать без болезней! Хотим, чтобы приятно было! Хотим, чтобы не помнить ничего!..

Толпа гудела и волновалась. Слышались отдельные выкрики: — Умереть как заснуть! Не замечать смерти! Чтобы родные тоже не плакали! Хотим светлой кончины! Хотим, чтобы дела все закончить! Хотим... хотим...

И слышалось еще много всяких пожеланий. Их я и не вспомню.

— Господа! — перекричал вдруг всех Епишка.— Дайте мне сказать! И, когда толпа несколько поутихла, он продолжал: — Во всех ваших пожеланиях я не нахожу ничего нового, ничего принципиального. А я вот изобрел новое...

— Что, что? — слышались нетерпеливые вопросы.— Что такое, говорите! В чем дело? Что вы изобрели? — Позвольте, позвольте,— резонерствовал оратор.— Вы вот хотели не иметь болезней. Это — вздор! Врачи могут вам сделать это и без меня. Что уж вам больно, что ли, перед смертью? Ну хватил какого-нибудь наркотика и — крышка! Ничего и не заметите.

В толпе почувствовалась некоторая озадаченность. Действительно, мало ли средств, которые анестезируют любую боль и даже лишают временно сознания? — Мне больше понравилось,— продолжал с таинственным тоном Епишка,— когда кто-то из вас хотел, чтобы приятно было вам это дело! Надо, чтобы приятно было! Но, господа, и одной приятности мало. Что же мы, в самом деле, целую жизнь страдаем, страдаем, целую жизнь корпим, корпим, трудимся, трудимся, а потом умирать пришлось, и вот тебе награда — приятность какая-то. Господа, этого мало! Слышите? Этого мало! Толпа вновь оживилась, заинтересовалась. Послышались снова замечания и вопросы: — Мало! Конечно, мало! Что это за приятность такая? Хотим больше! Да чего вы мучите нас? Говорите, что вы изобрели такое. Говорите скорее! Слушаем! Епишка сознательно медлил, желая вызвать к себе более оживленный интерес и интригуя толпу, которая и без того была готова соглашаться на что угодно.

— Господа, надо смеяться! Да, надо смеяться перед смертью! — крикнул Епишка.

По толпе прошла новая волна недоумения.

— Надо смеяться! Надо хохотать! Толпе это сразу понравилось. Хохотать перед смертью, видимо, ей больше хотелось, чем просто смеяться.

— Да! — вдруг закричал во весь голос Епишка.— Надо хохотать до упаду. Слышите ли: до упаду! Вот это и будет смерть. Надо лопнуть со смеху. Когда лопнете со смеху, это и будет смерть.

Толпа взбесилась.

Уже и во время предыдущих слов Епишки аудитория галдела как огромный рынок. Но сейчас все повскакивали с мест, и Епишка тоже сбежал с кафедры. Все бросились к нему, окружили его и наперерыв стали выражать свой восторг по поводу его идеи. Одни восхваляли его как какого-то нового чудотворца и спасителя от всех бед; другие били себя в грудь, желая показать полноту своих благодарных чувств; третьи ловили его руки и края одежды, чтобы их поцеловать; четвертые падали на колени, и кое-кто даже замирал в своей молитвенной, коленапреклонной позе.

— Где, где это средство? Скажи, и — мы умрем, мы лопнем со смеху. Спаситель наш, бог наш, веди нас куда хочешь! Надежда наша! Вождь наш! Возьми нас, прими нас! Мы твои! Мы твои! Епишка махал руками направо и налево, как бы отмахиваясь от объятий, и лицо его покраснелось от удовольствия.

— Да позвольте, позвольте! — кричал он.— Дайте сказать. Подождите. Еще же я вам не сказал, в чем дело... Позвольте! Ведь вся суть не просто в голой идее... Надо уметь выполнить...

Позвольте! Остановитесь! Подождите! Дайте сказать! Я думал, что толпа его разорвет на части от своего восторга. Но он каким-то чудом вырвался из толпы, взбежал опять на кафедру и заорал во всю глотку: — Машина! Слышите? Машина такая есть...

Многие при слове «машина» стали вести себя менее бурно. И через несколько мгновений наступило относительное затишье, все еще прерываемое возгласами и вопросами. Кто-то даже рыдал, прислонивши голову к правой руке, а правой рукой опершись на сцену.

— Господа! Ведь вы же еще не знаете самого важного. Ведь одной идеи мало. Надо ее осуществить! Да!

* Название публикатора.